
Борис Пильняк
Повесть Петербургская
Геликон
В
М

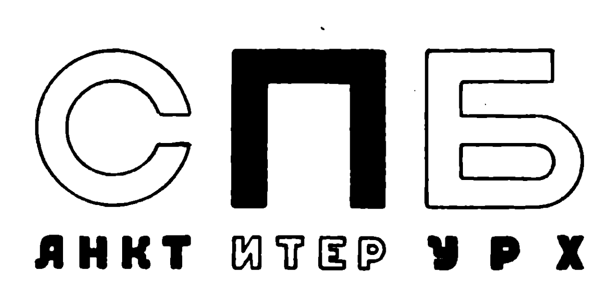


Эта книга отпечатана в типографии Sinaburg & Co. для книгоиздательства „*ГЕЛИКОНЪ*“ в Июне 1922 года
Иллюстрации В. Масютина

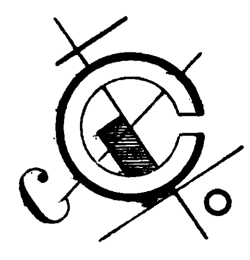


БОРИС
ПИЛЬНЯК
MCMXXII
ПОВЕСТЬ
ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ИЛИ
СВЯТОЙ
КАМЕНЬ-
ГОРОД
МОСКВА
ГЕЛИКОН
БЕРЛИН

彼 得 保



## ГЛАВА ПЕРВАЯ



ТОЛЕТИЯ ложатся степенно колодами. Столетий колоды годы инкрустируют, чтоб тасовать годы векам — китайскими картами. — „Ни один продавец идолов не поклоняется богам, он знает, из чего они сделаны.“ — Как же столетьям склоняться — перед столетьями? — они знают, из чего они слиты: не даром по мастям подбираются стили лет. „Третий император династии Да-Мин, Юн-Ло, прошол здесь, отправляясь на войну с монголами приверженцами династии Юан,

изгнанными из Китая его отцом Хун-Ву," — она высечена на глыбах белого мрамора: Юн-Ло — оправдал-ли годы свои сей надписью, ибо больше ничего от него не осталось? — И там же в тринадцатый день второй луны, в тысяча шестьсот девяносто шестом году, по европейскому летосчислению, прошол Император Конси, чтоб уморить голодом в Шамо и лошадей и солдат. Шамо значит тоже, что Гоби: Шамо — есть Гоби, пустыня. И поелику на белой мраморной глыбе есть надпись, истории сохранено имя деревни — Судетоу. — В Судетоу родилась его мать, и ей не коверкали ног с восьми лет, как аристократам, ибо она была плебейка.

Столетья ложатся степенно, — колодами: — какая гадалка с Коломны в Санкт-Питер-Бурге кидает картами так, что история повторяется, — что столетий колоды — годы повторяют раз, и два?! — Две тысячи лет назад, за два столетья до европейской эры, император Ши-Хоан-

Ти, династии Цин, отгородил Империю Середины от мира — Великой Китайской стеной, на тысячу ли, — Ши-Хоан-Ти, коий сверг все чины и регалии, всех князей, нанеся сим „смертельный удар феодализму“ и став — богдыханом, как царь Петр в династии Романовых, „прорубил окно“ и стал: Императором, лишь, — не успев состариться до Богдыхана.

Первый Петр в династии Романовых и первый император Российской Равнины, Петр Алексеевич сын-Романов, однажды, в парадизе своем Санкт-Питер-Бурхе, пропьянствовав день у сенатора Шафырова в „замке“ на Кайвусари - Фоминном острову, направлялся в ботике по реке Неве на Перузину-остров, в трактир Австерию, дабы допьянствовать ночь. Ладожские льды к сему времени прошли, навигация открылась и император узрел непорядок: не смотря на тихий простор реки, на белесую ночь и на белесые звезды в небе, баканы на реке-Неве не были зажжены и

на Васильевом острову не горел маяк. Петр сидел у кормы, пьяно молчал и пьяно воскрикнул, наполняясь злобой и буем:

— Каковы циркумстанции . . . Каковы циркумстанции, — а?.. Ка-ко-вы циркумстанции!..

На Неве-реке было весьма тихо и пустынно, и сенатор Шафыров прежде чем взглянуть в бабьи глаза императора, окинул мышиным взором окрестность. Рыгнул пьяным кулем корпуса своего:

— Ваше величество, служить готов . . .

— Ка-ковы циркумстанции!.. Паки и паки даны суть указы коммуникации устройства, — и паки и паки на маяке и на баканах огня не зрю, вопреки регламенту, коим указано с правой стороны красные огни жечь, а с левой — зеленые, для указания форватера!

Шафыров сказал: —

— Ваше величество, поелику ночи суть светлые и звезды на небесах . . .

Император отвечал:

— Ваше сиятельство!.. Поелику небесные светила зажжены суть Господом Богом, служат Богу и посему человекам не подвластны. И sondern. Како огни на маяке зажжены суть рукою человека, посему — служат оные человеку!.. Каковы циркумстанции?!.

Первый Император Петр Алексеевич с пьяным Шафыровым, кулем свалившимся в бот, так и не доплыл до Австерии в ту ночь, „хотя,“ как говорят моряки, на боте — по баканам, выколачивая на баканах дубинкою своей со спин баканщиков красные и зеленые огни, выколотил буем в себе хмель. И он был прав, император Петр, поелику огни зажженные рукою человека имеют человеческий смысл, как водители, — ибо на рассвете в ту ночь на Санкт-Питер-Бург наполз студенный туман и заволок — и звезды, и огни на баканах, но могли наползти только облака, заморосить дождем, тогда исчезли

бы звезды и остались бы одни огни, зажженные рукою человеков.

Конфуций сказал еще:

— „Ни один продавец идолов не поклоняется богам, он знает, из чего они сделаны."

Каменная стена идет по холмам, чтоб потеряться вправо и влево из глаза. Время уже разворотило каменную стену, здесь шли и Ши-Хоан-Ти, и Юн-Ло, и Тамерлан, и многие, и под стеною, где всегда взблескивали ящерки, растет белая крапива рами. Камни, небо, пустыня, на запад — Китай, на восток — Монголия, страна Тимуров. Разве он знал тогда, что вон там, за Гоби, за Алатау, за Туркестаном — вторая есть Империя Середины?.. У речонки Сай-хе, в лессе, изрытом людьми, как ласточками, и пропахшем человеческой грязью и потом, он родился и жил. Над головой на лессе его отцы сеяли гоакин и сарго, трудясь муравьями — на полях, которые можно


M

прикрыть каждое одной циновкой, — и он, мальчик с женской походкой, выбираясь из мрака лессовых жилищ, бегал с камышовой корзинкой к стене, к Великим воротам, где по Аргали-дзян шли караваны в Ургу, и там подбирал верблюжий, лошадиный и человечий назем, чтобы сносить его к отцам в поле удобрять землю под гаоляном: — оттуда, от ворот в стене, уже развалившихся, виден был вдали город Душикоу в каменных башнях, тоже уже развалившихся, и мальчик, отдыхая, потихоньку ото всех, стрекаясь крапивой, ловил ящерок, священных животных, и давил им серебряные их животики, чтоб увидеть, как кишечки поползут изо рта. Отцы приходили с полей к ночи, когда было также темно, как в лессе, — мальчик научился к тому времени есть уже палочками, а не руками, он уже не ходил совершенно голым, — но он еще боялся пещеры, вон той „к западу в лессе,“ куда ходил его отец размышлять в

обществе предков о трудах, лучшей смерти и сарго, где хозяйничала старуха и где стояли идолы. Это была ночь, и мальчик спал в углу на циновке, покрытый прокисшим ватным одеялом. Мальчик — за все свое детство — не видел — ни одного дерева, — ибо он жил за стеной, уже в Монголии, стране Тамерланов. Мальчик не знал, из чего делаются идолы.

Потом мальчик узнал, почему нельзя давить животиков ящеркам. Мальчик узнал, что значит труд отцов, что значит руками вспахать землю, руками принести с Аргели-дзян назем, руками охолить каждый куст кукурузы и гаоляна, чтобы не умереть с голода и жить в лессе, — и он научился трудиться. Он узнал о ян и ин, о Двух Силах, — мир, как его отцы, стал перед ним в воле Лао-дзы, для него некогда строилась Великая Стена, ибо Лао-дзы сказал о Тао, Великом Равнодействующем. У отрока осталась, как на всю жизнь, женская походка, но у него

потускнели глаза и стали походить на стершийся сачок, китайскую монету. Отрок, узнавший, что „мир не есть настоящее бытие“, все-же знал, как сеять сарго, томящее тело, — и он одолел „Четыре щу и пять цзанов“, томящих ум. Он изучил „Фонтан знаний и реку, вытекающую из него.“ Он истолковал восемь гуа, образуемых четырьмя прямыми длинными и восемью короткими, где открывается истинный смысл пассивного ин, что „человек есть продукт природы и потому не должен нарушать ее законов“, и он, как все, кончил Ши-Цзином, книгою од. — И, все же, Душикоу глядит в Монголию, как Монголия всматривается, усмехаясь Гоби, в Душикоу.

— Кто знает, что было бы?

Столетья ложатся степенно, колодами: столетий колоды годы повторяют и раз, и два, ибо история — повторяется. Великая китайская стена стояла две тысячи лет, — кто знает все пути — всех, и то

— почему ссудила судьба жить этому человеку вот теперь? — Это там, в лессовой деревне — в лессовую деревню приходили из Юн-чжоу, из Цупуни, даже из Пекина нище-богатые люди, ничего не имеющие, чтобы иметь все, — чтобы говорить о И-хэ-да-цюан — о Хун-Ден-Чжао, о Ша-Гуй, — о „Правде и Согласии Большого Кулака", о „Красном Фонаре", об уничтожении дьяволов, о том, чтоб восхищаться тем, что сарго уже столько-то стоит, а труд дешев, что в Пекине — заморские дьяволы — янгуйцзы, как дома, — о том, что императрица (тс! тсс!.. шш!..) — императрица Цсы-Си — продана — бедная супруга — императрица... — Они зажигали красные фонари в пещерах, и отец не уходил к предкам. Они сидели у фонаря и казалось, что зубы у них больше чем следует и подвешены. Они уходили с песнями и отец каждый раз брал его за руку, чтобы сказать, как зарубить: — „об этом никто не знает"!

— но в ночи звенела боевая песнь уходящих:

Тен-да-тен-мынь-кай!
Ди-да-ди-мынь-кай!..

Кто знал там в лессовой деревне имена — доктора Сун-Ятцана и начальника Нуй-гэ-Юан-Ши-Кая? — И был день, когда все узнали, что уже нет императрицы Цсы-Си в Империи Середины, и не будет Пу-И, — что трехлетний Хуан-Чжан-Пу-И должен отречься. В тот день никто не пошол в поле, в тот день остановились караваны на Аргали-дзян, — в тот день все было новым, как праздник, и только стена и ящерки под ней были прежними, — в тот день. А потом, и ночами и в дни шли люди с красными фонарями и с лицами, как плакаты, с винтовками, саблями, даже с луками, — толпами и одиночками и военными отрядами через каменную стену в ворота в Шунь-Тянь-Фу, то

есть Пекин. С ними ушол отец, взяв саблю с драконами у ручки, — саблю предка, которая всегда висела в кумирне. Тогда, правда, стал дорог сарго и не хватало чаю, запертого югом, и кто-то ночью вытоптал все поле. И тогда вернулся к своим предкам — отец, его голову носили на колу, а тело сквозь задний проход и то место, где была голова, было проткнуто пикой, двое несли концы пики на плечах, и казалось, что отец ползает в воздухе, как ползал, когда обирал гаолян, — и его долго носили по Аргали-дзян и по кислым улицам Душикоу, В те дни многих чтили такой смертью, и родственники тогда должны были бежать куда глаза глядят, скрываемые теми, которые вчера помогали таскать отца. Люди с лицами, как плакаты, уже с обрезанными косами, шли и шли в ворота. Кто-то, какие-то поставили над стеной две пушки и стреляли целый день в Душикоу и в лесс, — шалый снаряд ударил в плотину

на речке Сой-Хе и труды многих лет погибли в час, тогда идущие бросились умирать к этим пушкам, и колы с разинутыми ртами мертвых голов повисли надолго в сыром полумраке ворот. И тогда настала великая ночь Крови и Смерти — девятнадцатая ночь Шестой луны, и пришла последняя весть: трехлетний Хуан-Чжан — желтейший повелитель-Пу-И, — отрекся. Тогда люди пошли — из ворот.

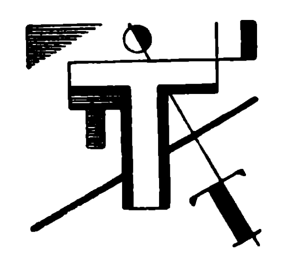
Он — имя его Ли-ян — ведь он же был в Душикоу и в Пекине, это он ничего не понимал, обыватель. — И тогда он бежал сотни ли, через Монголию Тимуров, на Ургу, на Кяхту, чтобы спутать в памяти Владивосток, Порт-Саид, океаны. Он проходил мимо белых мраморных глыб, где высечено о том, что „Третий император династии Да-Мин, Юн-Ло, прошол здесь, отправляясь на войну с монголами, приверженцами династии Юан,“ — о том, что здесь умирали солдаты и лошади императора Конси. Но он не знал этого,

он думал лишь тогда о том, что отсюда, из деревни Судетоу — его мать: его мать здесь ловила ящерок маленькой, — его мать, которую он бросил, как все, как женщину. И вместе с ним шли десятки других, потерявших, бросивших — и отцов, и матерей, и братьев, и отечество.

„Ни один продавец идолов не поклоняется богам, он знает из чего они сделаны."



## ГЛАВА ВТОРАЯ



Ы еси Петр, и на камени сем созижду церковь мою.“ Петр — есть камень и заштатный град Санкт-Питер-Бург — есть Святой - Камень - Город. Но — определение, должно быть только в одном слове: Санкт-Питер-Бурх определяют три слова — Святой-камень-город, — нет одного определения, — и Санкт-Питербург посему есть фикция. Но — на Неве-реке, пустынной, как Иртыш, все-же лежал город, поистине гранитный. Каменный город — и заштатный, и потому уже, что каменный и заштатный, — не русский, конечно, ибо все русские за-

штатные города рыхлы, как бабы, засорены были подсолнечной шелухой, пахнули селедочным хвостом, в скамьях с пестрыми юбками баб, рыхлых, как заштаты, и все заштаты умирали навозной смертью. Перспективы проспектов Санкт-Питербурга были к тому, чтоб там, в концах, срываться с проспектов в метафизику. — И в тот день, в обыкновенный — финляндский — денек, на Неве-реке, пустынной как этот финляндский денек и как Иртыш, долго гудел один — единственный катерок, отбрасывая эхо от дворцов, от Биржи и Петропавловки, много эхо, как всегда в Поозерьи, — и тогда с Троицкого моста в перспективы проспектов ушол автомобиль, чтоб кроить перспективы, чтоб начать рабочий день человека и чтоб сорваться в конец — в концах проспектов — в метафизику. — Есть поэзия камня и тишины. Финляндские дни одевают гранит мхом, зеленая травка пробила гранит: — на Невском

проспекте в торцах зеленая травка поросла. Дворцы стали тогда мертвецами-музеями, — и разве не памятник, как Петру у Адмиралтейства, — памятник заштатов — дом, развалившийся на Гончарной. Поистине есть красота в умирании, и прекрасен — гранитный — был город, в пустынном граните, в мостах, в перспективах, в развалинах, в бурьяне заштатов, в безлюдьи, в гулких эхо на пустынной — поозерной — реке, в обыкновенных — не русских — финляндских днях. А там, где столпились улицы из городков Московской губернии, на русской, на московской стороне, в переулочке, на перекресточке — у дома в два этажа все окна выбиты были, нежилой дом, покинутый, магазин был внизу, и видно было сквозь окна открытую внутреннюю дверь в пустырь за домом, в магазине паутина повисла, кирпичи валялись и стекла...

„Ты еси Петр, и на камени сем созижду церковь мою.“

По Великой Европейско - Российской равнине прекрасная прошла революция, метель метельная вылущила ветрами мертвое все, — умирать неживому. Сказания русских сектантов сбылись, — первый император российской равнины основал себе парадиз на гиблых болотах — Санкт-Питер-Бурх, — последний император сдал императорский — гиблых болот — Санкт-Питер-Бург — мужичей Москве; слово м о с к - в а значит: темные воды, — темные воды всегда буйны. Питербургу остаться — сорваться с п р я м о л и н е й н о й — проспекта — в туман метафизик, в болотную гарь. Тот же финляндский денек обещал быть к ночи — туманною ночью, уничтожить прямолинейность проспектов, затуманить туманом. И автомобилью в тот день кроить улицы, избыть день человека — петербуржца — Ивана Ивановича Иванова, как многие в России. Иван Иванович был б р а т о м. Иван Иванович был интеллигентом: он был

про-фессо-ром. Автомобиль скидывал мысли Ивана Ивановича — в Смольном, на Невском, в Гороховую, — автомобиль-каретка-Бразье, где Иван Иванович сидел в углу — в зеркалах — на подушках — с портфелем. Автомобиль вновь ушол в пустыню Невы, как Иртыш, в простор Троицкого моста, чтоб свернуть на под'емный мост же — Петропавловской крепости, в Петропавловскую крепость, чтобы погаснуть там у собора, у штаба. На соборе, у шпица реял монах. Тогда выстрелила на бастионе пушка, — указать час, — перекинуться мячиком эха дворцам с бастионами. И Иван Иванович долго сидел в кабинете конторы на задворках — вот, в кабинете с деревянными стульями и столом под клеенкой, и к нему приводили людей из бастионов и равелинов — во имя их совестей: двум человекам стать друг против друга с двумя правдами, с тем, чтобы одному человеку и одной правде вернуться в равелин. Из

штаба пришол китаец-красноармеец, которого привел тоже китаец-красноармеец, и долго ждал своей очереди китаец-красноармеец, потому-что не было переводчика, а в бумагах значились пустяки, что у него, красноармейца такого-то стрелкового полка, найдены были при обыске и отобраны английские золотые монеты, — и мимо него проходили к столу — говорить или молчать у стола. — . . . В доме у инженера, в его кабинете за ширмой стояла кровать, — и некогда так-же стояла кровать у того-же инженера в Лондоне. Тогда в Лондоне был подпольный с'езд революционеров. И как тогда в Лондоне, встречаясь раз в год здесь в Санкт-Питер-Бурге, поздоровавшись, подошол потихоньку к кровати Иван Иванович и стал щупать — простыни.

— Ты что? — спросил инженер.

— Я смотрю, простыни не сырые-ли? Не простудись, голубчик.

Они, инженер и Иван Иванович, зна-

ли друг друга с детства, с бабок в подлинно-заштатном городишке. У инженера корчили хари в кабинете китайские черти, кость, бронза и фарфор — твердым холодком корчили хари; и было в кабинете холодное венецианское окно, уходившее в белые ночи холодком белых стен кабинета. Инженеру — нельзя было горбиться. — В ту белую ночь у инженера была музыка, были музыканты и гости. Иван Иванович не выходил на люди, сторонился толпы, не любил людей, он сидел в кабинете, один в темноте. И инженер увидел, что Иван Иванович поражон музыкой, — поражон так, как могут поражаться, понимая, лишь избранные: в холодном кабинете, где черти корчили холодно хари, человеческая — настоящая — теплота села в кресло в углу, затомившись оттуда. Инженер тогда сгорбился у окна, в белой ночи, и Иван Иванович подошол и стал сзади, прислонившись к плечу инженера.

— Я себя чувствую — хозяином на земле, — сказал инженер. — А ты? — Всё по прежнему, — гость?

— Да-да, гость!

— Петербург — новая архитектурная задача, город без крыш, с катками в верхних этажах... тишина, вымиранье... — Гость? в белую ночь и проспекты вглядывался инженер. — Я вчера ел хлеб из оленьего мха. — Гость? Метафизика?

— Да, гость. Помнишь, в Брюгге, проселком мы шли. Мы тогда говорили — о мире. Я не поехал в Москву: кровь, копоть заводов, руки рабочих, — я провижу столетья! — и гость!.. — Иван Иванович крепко прижался к плечу инженера, инженер сквозь пиджак ощутил теплоту от дыхания. — Какой ты большой, Андрей... В Брюгге такая же тишина... Какая музыка!

— Где?

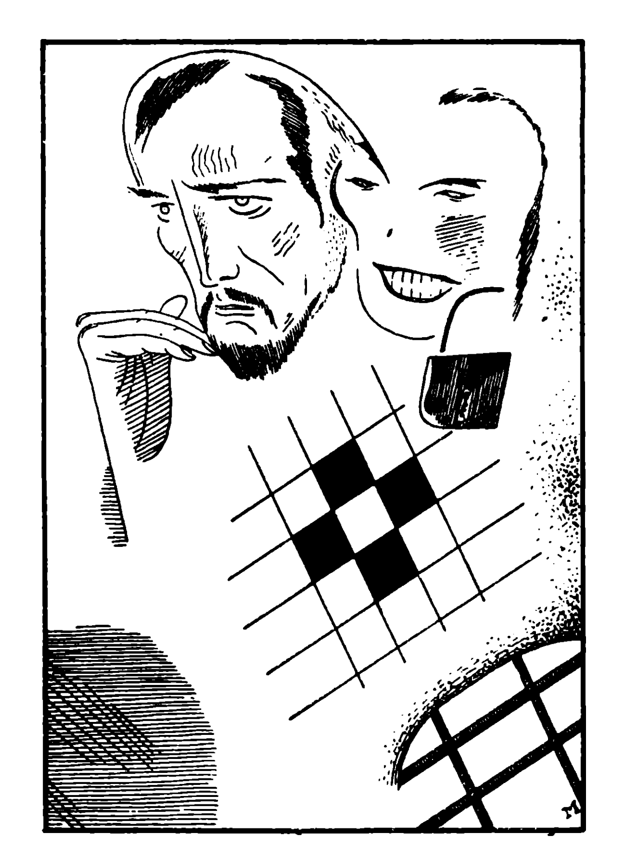
— Там вон, в гостиной, — пианино, Я не вижу реальностей.

В ту ночь — там, в туманных концах проспектов автомобиль сорвался с торцов, с реальностей перспектив — в туманность, в туман, — потому — что Санкт-Питер-Бург — есть таинственно — определяемое, то-есть фикция, то-есть туман, — и все-же есть камень. Инженер вышол к гостям и сказал:

— Знаете, кто был сейчас у меня в кабинете, какой гость? — и помолчал. — Иванов Иван, — и помолчал, выждав, как имя хлестнет по гостиной. — Музыку слушал, музыку знает, — гость на земле. — К инженеру подошла женщина, — оба склонились в амбразуре окна, — там внизу с торцов сорвалась каретка-Бразье, — женщина коснулась нежно плечом плеча инженера, — такое древнее, такое прекрасное вино лучше которого — нет: — женщина. Китайские черти — кость, бронза и фарфор — корчили хари.

В доме — дома — Иван Иванович Иванов — жил, как — таракан в щели.

Он боялся пространства. Он любил книги, он читал лежа. Он не имел любимой женщины, он не стирал паутины. В маленькой комнатке были книги, и ширмы у кровати были из книг, и простыни на кровати были сухие. Автомобиль совался в туман. Двери были заперты и заставлены полками книг. В углу, на кровати, Иван Иванович — лежа — видел огромную шахматную доску: этой доски не было в действительности. — Мир, дым заводов, руки рабочих, кровь, миллионы людей, — красное пламя России, — Европа, ставшая льдиной на бок в Атлантике, — Каменный гость, влезший — с громом — с конем — на доску: — на шахматной доске. Простыни — сухие, в комнате мрак, и тут в сухих простынях, в подушках — мысль: я! — я-ааа! Каменный гость — водкой: „Ваше превосходительство. Паки и паки Россия влачима есть на Голгофу. Каковы циркумстанции?..“ Гость: „Никакой России, государь мой, никакого



Санкт-Питер-Бурга, — мир.“ — Каменный гость: „Выпьем, ваше превосходительство, за художество. Не пьете?“— „Не пью.“ — „А за Алексеевский Петропавловской крепости равелин, — паки не пьешь?“ — „Не пью.“ — „Понеже и так пьяно, ваше превосходительство, — так ли?“ — „Шутить изволите, государь мой, Алекоеевский равелин — я, — я же!“ — В сухих простынях, в жарких подушках, в углу — мысль: я-ааа!.. я-а — есть мир!

„Ты еси — Петр.“

...Китаец стоял в стороне, у китайца лицо, как у китайского чорта в кабинете инженера, в кабинете конторы были деревянные стулья и стол под клеенкой. Китаец прошол в сторону — женской походкой, на нем была русская солдатская гимнастерка без пояса. За решоткой окна стоял автомобиль. На лице у китайца были — только зубы, чужие, лошадиная челюсть, он ими усмехался: — кто поймет? — В конторе на окнах была

паутина, стало-быть были и мухи. — К столу подходили. Подошол инженер: инженеру нельзя было горбиться.

— „Я утверждаю, что в России с низов глубоко-национальное здоровье, необходимое движение, ничего общего не имеющее с европейским синдикалистическим. В России анархический бунт во имя бесгосударственности, против всякого государства. Я утверждаю, что Россия должна была — и изживает — лихорадку петровщины, петербурговщины, лихорадку идеи, теории, математического католицизма. Я утверждаю большевизм, разиновщину, и отрицаю коммунизм. Я утверждаю, что в России победит — русское, стряхнув лихорадку петровщины. Алексеевский равелин. Инженер Андрей Людоговский.“ — Так было записано в протоколе.

Иван Иванович сказал по английски:

— Помнишь, Андрей, мы играли в бабки. Но я своего брата . . .

И тогда на лице китайца — одни зубы — зубы совсем наружу, все лицо вопросом, с глаз спали сапеки, чтобы глаза — просили: — субординация спуталась. Китаец качался у стола справа налево и говорил — по английски, — все, сразу, что знал, много: — „Я хочу родину. Нуй-гэ Юан-Ши-Кай, — президент! Я хочу родину. На юге я дрался. Я хочу родину!“ — Без субординации, в кабинете конторы разорвался кусок — горячего — человеческого.

. . . Китайца на шахматную доску! .. На набережных, в камнях трава поросла, финляндские дни одевают гранит мхами: дворцы стали тогда мертвецами-музеями. Петр Первый ушол от Адмиралтейства на Гончарную, где развалился дом: дом тогда придавил людей. Автомобиль — мостами, набережными, мост у Петропавловской крепости поднят, — автомобиль каретка-Бразье, простором Невы, как Иртыш, и поозерного неба-простором. В

доме — дома — в окне — через окно — через крыши — через Неву — на взморьи — в комнате — красная рана заката. Красная рана заката пожелтела померанцевыми корками, в желтухе-лихорадке. Ночью будут туманы. Желтуха? — китайца на шахматную доску! — Закат — умирал!.. Где-то далеко одинокий гудел катерок. Книги, книги, книги, — в померанцевых корках заката на полках и подушки не подсинила прачка. Ночью будет туман. У Ивана Ивановича не было женщины, — опять лихорадка. „Хина, кажется, жолтая — хинная корка?“ Звонки.

— „Принесите чорного кофе, покрепче,“ — горничной: она горничная — женщина: „надо, чтоб пришла ночью“...

„Помнишь, Андрей, мы играли в бабки. Но я своего брата послал расстрелять, милый Андрей!“ — „Петровщина Лихорадка, Санкт-питербурговщина? Большевик голову откусит, возьмет в рот и так:

хак?!. — Нет большевика, нет никакой России, — дикари! Есть — мир!" — Каменный гость: „Выпьем, ваше превосходительство, за художество. Кофий будете пить?" „Да, кофе." — „Понеже и так пьяно, ваше превосходительство так ли?" — „Утверждаю, что коммунизма в России нет, в России — большевики. Алексеевский равелин. Инженер Андрей Людоговский." — Каменный гость: „Брось, ваше превосходительство. Выпьем за художество! Плеваты! Поелику пребываем мы в силе своей и воле." Гость: „Погодите, величество! Все есть — я! — слышишь, Андрей, все есть: я-ааа!.. милый, Андрей!

— Останьтесь, Лиза, на минуту.

— Простыни, барин, я просушила.

— Меня знобит, Лиза. Я одинок, Лиза, присядьте.

— Ах, что вы, барин...

— Присядьте, Лиза. Будем говорить.

— Ах, что вы, барин!.. Я лучше попозже приду.

— Присядьте, Лиза!

„Помнишь, Андрей, мы играли в бабки... У меня два брата. Один расстрелян, а другой“... — Китаец полез по карте Европы, на четвереньках, красноармеец Лиянов, — почему у китайца нет косы? — Простыни — сухие, на шахматной доске — мир, руки рабочих, дым заводов, Европа — льдиною на бок в Атлантике, — никакого Санкт-Питер-Бурга, — китаец на четвереньках на льдине. — И никакой шахматной доски — Лизины волосы закрыли шахматную доску, а губы у Лизы — сжаты — брезгливо. — „Паки и паки влачимы будучи на Голгофу“!...

— „Ты еси Петр и на камени сем я созижду церковь мою: — я — я-ааа.“

— „Ах, барин, скорее, пожалуйста.“

. . . Голубоватый, зеленый туман восставал над Невой и окутывал крепость. А над ним, над туманом — апельсиновой

корки цвета — меркнул закат, и в тумане, в жолтом закате плавал на шпице над крепостью — чорт-ангел-монах, похожий на чорную страшную птицу. Крепость в тумане уплыла.

. . . В общей камере — одни лежали с газетами, одни — играли в шахматы из хлебного мякиша. Китаец с женской походкой и с ноздрями над лошадиной челюстью, как у проститутки, — с лицом в мертвой улыбке, подходил ко всем, останавливаясь томительно против каждого, долго молчал, улыбаясь, и говорил, не то спрашивая, не то утверждая: — „Кюс-но...“ Все понимали, что это значит — скучно... — У волчка стоял другой китаец, страж, — иногда этот шептал в волчок:

— Ни ю цзы суй? Сколько лет ты считаешь себе?

— Во эр ши ву. — Двадцать пять, — отвечал китаец из камеры.

И страж тогда говорил по русски:

— Сту-пай! Нель-зя гово-ри! — чтобы через пять минут прошептать вновь:

— Ни хао?.. — Ты здоров?..

Инженер Людоговский — инженеру нельзя было горбиться — весь вечер играл в шахматы, у стола в скарбе чайников и железных кружек. Шахматы были слеплены из хлебного мякиша. Китайцу безразлично было на чем сидеть, он любил сидеть в углу, на полу и там что-то петь, очень беспокоющее, однотонное, как вой собак от луны. — В час после поверки всегда приходили, чтобы вы-зывать.

В этот час всегда говорили, никто не спал, но все ложились на нары, точно нары и сон — шанс, чтоб не вы-зва-ли ночью.

Инженер Людоговский рассказал:

После смерти жизнь не сразу замирает в организме. Каждый знает, что волосы и ногти растут у мертвецов втечение нескольких месяцев. Одной из по-

следних замирает деятельность мозга. Мертвец четыре недели после смерти — видит и слышит и, быть-может, ощущает во рту привкус гнили... Он не может двинуться, не может сказать. Понемногу оживают нервы рук и ног — и тогда они вываливаются из сознания, из ощущений. Последним начинает гнить мозг, — и вот последний раз ушная барабанка восприняла звук, последний раз кора большого мозга ассоциировала мысль о смерти, о любви, о вечности, о боге (— больше ведь ни о чем нельзя тогда думать, перед вечностью, тогда ведь нет — человеческих — отношений), — и потускнела мысль — как давно уже потускнели, остеклянели глаза, став рыбьими, — потускнела, развалилась мысль, как развалился, сгнил мозг. Вот через глазные впадины вполз червь, — тогда глаза исчезли навсегда. После смерти идет новая, страшная жизнь. Одним это — ужас, а мне... Любопытная мысль, Петербург...

Но инженер не кончил, отвернулся к стене, поднял воротник пальто, не отвечал: инженеру нельзя было корчиться. Никто не говорил. Тогда в углу стал перебирать стекляшки — завыл, как собака при луне, — запел боевую песнь китаец:

Тен-да-тен мык кай!
Ди-да-ди мык кай.
Жо-сюэ тен шень куй! —
Во цин ши-фу кай.

В волчок прошептал китаец-страж:

— Ни гуй син? — твое дорогое имя?

На столе в камере на ночь остались шахматы, слепленные из хлебного мякиша. Ночью китаец с'ел шахматы, слепленные из хлебного мякиша. — А у дворцов на Зимней Канавке из зеленой воды в ту ночь выплывали — в тумане, окутавшем перспективы проспектов — двенадцать дебелых сестер лихорадок, Катерины, Анны, Лизаветы, Александры, Ма-

рии — императрицы — что-бы поплыть на Неву-реку, как Иртыш-река, к Петропавловской крепости, травку рвать там на границе, цынгу разбрасывать, слушать давний спор Алексея с Петром, стон поэта Рылеева, марши Николая Палкина, — поозерные сказки выведывать, — чтоб смотреть, как на Неве-реке справа красные горят коммуникационные огни, слева — белые, — чтоб увидеть там в тумане — сквозь туман — из тумана восставшую Великую Каменную Стену, поставленную императором Ши-Хоон-Ти за два столетия до Европейской эры.

— Во гуй син? — твое дорогое имя? — прошептал волчок.

— Во-син ли Ян.

Был час, когда приходили, чтоб вызывать. Китаец подошол к Людоговскому, присел рядом на нарах на корточки, в полумраке выползла конская челюсть, усмехнулась, скорчилась:

— „Кюс-но?..“

Двенадцать сестер лихорадок плыли по Неве, туман пополз в оконца. Тогда загремел замок, чтоб прижать каждого к нарам, притиснуть в тоске: — „вот, ведь я же лежу, я лежу на нарах, я сплю, зачем? — Я-же сплю, — я-ааа!.. за что?“

— Красноармеец Лиянов.

„ . . . Вот, ведь я-же лежу, на нарах, я сплю, — не я, не я-аааа, — не меня!“

Красноармеец ушол. Загремел замок, снизив своды, стиснув камеру. — Можно закурить, чтоб не задохнуться. — Хинкибы, хины, — туман, лихорадка. — Невидно — Невы дно глубоко, где двенадцать сестер. Красноармеец Ляонов — „кюсно!“ — тю-тю!.. — „Столетия ложатся степеннно колодами. Столетий колоды годы повторяют и раз и два, чтоб тасовать годы векам — китайскими картами. Ни один продавец идолов не поклоняется богам, он знает, из чего они сделаны. — Как-же годам склоняться — перед годами? — они знают, из чего они слиты: не

даром по мастям подбирают стили лет.“ „Петр — есть камень, и заштатный город Санкт-Питер-Бург — есть Святой-Камень-Город. Но Санкт-Питер-Бург — есть три, и посему — есть фикция: перспективы проспектов Санкт-Питер-Бурга были к тому, чтоб там, в концах срываться с проспектов — в метафизику.
„(ни) (ты) (один) (еси) (продавец) (Петр)...“
„Хинки-бы, хинки! — Кюс-но!..“

Тогда загремел замок, чтоб прижать каждого к нарам, притиснуть в тоске: — „вот, ведь я же лежу, я лежу на нарах, я сплю, зачем? — Я же сплю, — яааа!... Зачем?“

— Инженер Людоговский, — Смирнов, — Петров...

. . . „Ведь я же лежу, на нарах, я сплю, — не я, не яаааа, — не меняа!..“

Коридоры, приступки, ступень. Мрак. Электрическая лампа. Мрак. Электрическая лампа. Плеск воды, приступочки, ступеньки. — Свет, подвал — и: два ки-

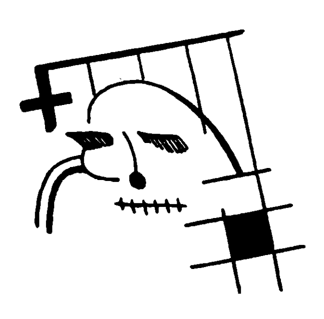
тайца: — ах, какие косые глаза! — и кто так провел по лицу, чтоб вдавить лицо внутрь, раздавив переносицу, лицо, как плакат, с приставными зубами? — а походка — у китайцев — женская... Инженеру — нельзя было корчиться...

— Ага!..

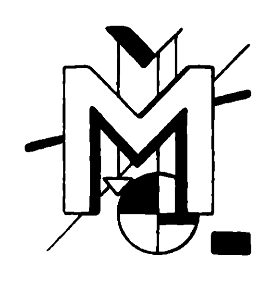
И все. Последняя мысль — последняя функция коры большого мозга — через несколько недель — была —

— нечеловеческою мыслью —

— ибо фосфор омылил кору большого мозга, в мутной воде — в зеленой воде — в проточной воде. Туманы, — хинки бы, хины!



## ГЛАВА ТРЕТЬЯ, ПОСЛЕДНЯЯ,
### — ибо Санкт-Питер-Бург — есть — три



АЛЬЧИК — за все свое детство — не видел ни одного дерева, ибо он жил за стеной, уже в Монголии, Стране Тамерланов. В Санкт-Питер-бурге, там, где столпились улицы из городков московской губернии, — Рузская, Московская, Серпуховская, — на русской, на московской стороне, в переулочке, на перекресточке — у дома в два этажа, у нежилого, у покинутого, — сквозь разбитые окна в магазине внизу — видно было открытую внутреннюю дверь в пустырь за домом, — там срублены были тощие топольки.

Китаец — своими руками — спилил, выкорчевал тощие топольки. Китаец — своими руками — выбрал все камни и камешки. Дом покинули русские, по русски загадив: китаец — своими руками — собрал весь человеческий помет, с полов, с подоконников, из печей, из водопроводных раковин, из коридоров, — чтобы удобрить землю. Там, кругом пустыря были кирпичные брандмауэры, на одном из брандмауэров росла бузина. Все камни, жестянки, обрезки железа, стекло китаец сложил квадратами под брандмауэром, — китаец нарыл грядки и на грядках посадил — кукурузу, просо и картошку. — Был серый — финляндский — поозерный — денек. Китаец встал с жолтой зарей — и весь день, за весь день, — каждый кусочек, каждую былинку, отрогал, охолил своими руками. И весь день китаец пел боевую, бунтовщическую китайскую — русскому уху звенящую тоской невероятной — песню: —

Тен-да-тен мынь кай!
Ди-да-ди мынь кай!
Жо сюэ тен шень куй. —
Во цин ши-фу лай! —

песню, в которой говорилось о том, чтоб — „небо растворило небесные ворота, земля растворила земные ворота, чтобы постигнуть сонм небесных духов, — ибо Кулак Правды и Согласия и Свет Красного Фонаря сметут одним помелом. И звезда Чжи-Юой, обручившись со звездой Ню-су, помогут им, спасут и охранят от огня заморской пушки.“ — Был серый денек. Мальчишки соседних домов, которых китаец выжил из пустыря, где они играли в Юденича и в карточные бюро, забирались на брандмауэр, висли на нем ласточками в ряд и кричали:

— Эй, ходя, косоглазый чорт! Кто тебе косу то обрил?

— Вот, погоди, мы картошку то слимоним!

Но китаец не слышал их, и в общем мальчишки больше наблюдали за человеком с женской походкой, трудившимся, как муравей на квадратном своем застенке, — один, всем чужой, косоглазый.

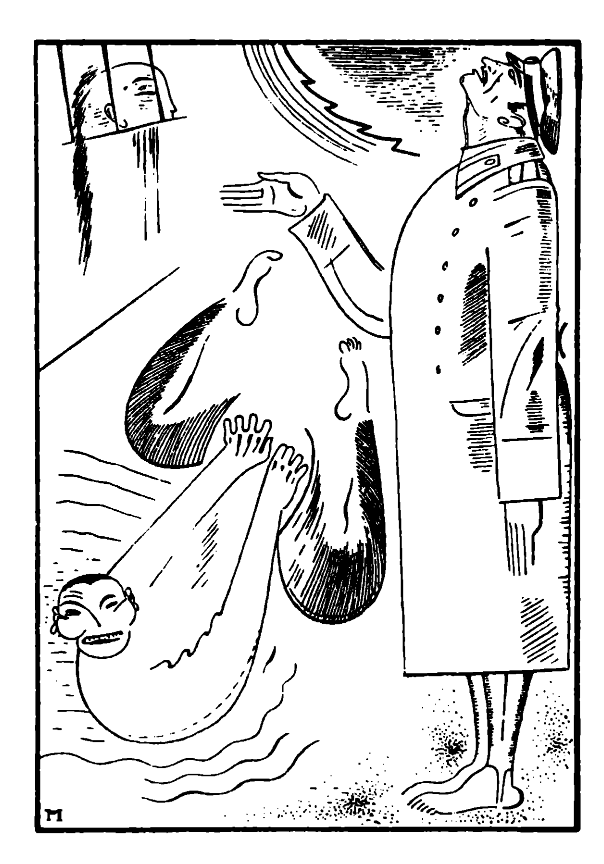
Был серый — финляндский — поозерный — денек. Жолтой, как хинная корка зарей, пришол он и чинною коркой ушол. Вечером китаец один лежал в уцелевшей комнатке внизу, на плите, прикрытый прокисшим одеялом, — в каморке пахло, как некогда пахнуло в лессе. Китаец лежал с открытыми глазами, с остекляневшим взором, корчась в онанизме. — Что думал китаец, кто знает? — И в притихшей белой ночи, где-то в соседнем, Можайском, переулке пиликала и пиликала гармоника, и женский голос пел:

Когда бы имел златые горы
И реки, полные вина...
Все-б отдал за любовь, за взоры...

...А если бы в тот вечер, — циркулем на треть земного шара — на треть земного шара шагнул на восток, через Туркестан, Алатау, Гоби, — то там, в Китае, в Пекине, (— Иван Иванович Иванов был братом!) — в Пекине, Китае...

Белогвардеец, дворянин, офицер императорской армии, эмигрант Петр Иванович Иванов проходил воротами Гэ-тэ-мен, — в подземельи ворот, там, где ходят люди, было темно и сыро, — Петр Иванович свернул налево. По широким квадратам каменных плит, под высокими стенами древних укреплений у рва, наполненного зеленой водой, а потом по каменному мосту через канал, он пришол до Западных ворот Танг-пьен-мэн, там, по покатому склону дерновой тропинкой он поднялся на стену, на бастионы, в тишину и безлюдье над городом. — Какое странное зрелище для глаз европейца! — ведь европеец привык к квадратным громадам серых зданий, скованных квадратами

проспектов. Солнце с темного и голубого неба, светя лучами, отбрасывало лиловые резкие тени от рвов, бастионов, от бананов, сверкало резко в лакированных черепицах крыш и рябило жолто-золотистым, ярко-голубым, красным, причудливым костром пагод, храмов, киосков, башен, спиралей портиков, срезанных там вдалеке мрачной, бурою линией стен и зеленой мутью канала: — там деловая толпа — люди — китайский город — купцов, продавцов, плебеев и нищих — гул толпы, крики мулов и ослов. — Здесь, на стене, над городом — безлюдье и тишина. Эмигрант, офицер, барин, в офицерской шинели с золотыми погонами (весь багаж) сел у глыбы гранита. Серая офицерская шинель с золотыми погонами — весь багаж офицера. Нету сапог. И лето. Сколько верст или ли (по китайски!) пройдено было. Офицер прислонился к гранитной глыбе, фуражку с белой кокардой надвинул поглубже, чтоб не рябило в


M

глазах. Здесь, в безлюдьи, в солнце и в день — спал офицер, Петр Иванович Иванов.

К вечеру, в заполдни, офицер шол в толпе между воротами Куанг-дзу и Ша-Ку. Крестьяне с мулов и ослов торговали мясом, дичью, луком, сарго, — и курили хрупкие трубки табака, мужчины и женщины, пока не пришол покупатель. Небрежной, неспешной походкой шли с веерами мужчины-джентельмены. Гул и шелест толпы уходил — в лиловатое небо. У павильона, где стояла охрана были врыты столбы с перекладинами, на столбах в бамбуковых клетках — в каждой клетке по голове — лежали головы мертвецов, глядевшие тусклыми, широко-раскрытыми глазами. Офицер остановился, чтоб посмотреть, что осталось от людей: рты были обезображены веселой гримасой, у всех одной и той же, а зубы — конвульсивно сжаты, — а с клеток капала, еще свежая кровь, — и офицер почувствовал,

что его тошнит от запаха свежего мяса. Это было место политических казней. — Там, в конце, у ворот, у стены под каштанами сидели, стояли, лежали — нищие, прокаженные, фокусники, гипнотизеры, старики. Мимо шли и ехали на людях и лошадях лорды и лэди. Офицер стал к нищим и, полупротянув правую руку, запел по-русски:

— Пода-айте милостинку Христа ра-ади!..

Белогвардеец, барин, офицер русской армии, эмигрант, брат, Петр Иванович Иванов.

Россия, Коломна.
Никола-на Посадьях, 20 сент. 1921 г.



# Его Величество

# KneeLPITERKomondor

Не презирати, не за псы имети,
Паче любви, яко свои дети.
Симеон Полоцкий

Россия, нищая Россия.
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, —
Как слезы первые любви

Пускай заманит и обманет
Не пропадешь, не сгинешь ты.
А. Блок



ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССІЙСКІЙ

ОТЕЦЪ ОТЕЧЕСТВА

В. Масютинъ. 1922 г.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ




ОНѢЖЕ Государство, какъ учатъ французы, гармонія всѣхъ естествъ есть, не токмо фізическихъ, но і духовныхъ мню я, что Его Величество Государь Петръ Алексѣевичъ единое оскудѣніе учиніль Государству Россійскому, ибо владодательство, т. е. політіка, не есть дебошанство. Бывъ многажды въ Винесіи, Парізѣ і Земляхъ Фламандскіхъ, не могу оставить мыслію Родины. Гісторія ея туманна есть, понѣже холопы и прочій подлый народъ оставленъ въ бытіи первобытномъ, а шляхетство, яко-бы штудіруя въ Академіи-де-

Сіянсъ, імѣя Регламенты і во всякихъ художествахъ искусство получівъ, — не есть что кромѣ, како амурщіки і галанты, пітухи і мздаімцы, мордобівцы і воры, і казны государовой казнокрады, ибо совѣсть ихъ пропіта есть и отцовы заказы забыты суть. Младымъ отрокомъ отъ сосцовъ матери оторванъ бывъ, получівъ искусство артіллеріі за граніціею, съ младыхъ лѣтъ пріученъ бывъ зѣло піти, обрѣлъ я ко зрѣлому возрасту единую скорбь, безвѣріе і плутнічество. Государство наше Россія пребываетъ въ гладѣ, морѣ, бунтахъ і смутах. —

Так записал в юрнал свой Гвардии обер-офицер Зотов, отбывая дежурство в Адмиралтейской крепости, в канцелярии Адмиралтейств-коллегии. В каменной полутемной комнате со сводчатыми потолками было захаркано и заплевано. За приземистыми, уже успевшими запылиться, оконцами, на квадратном дворе грудами свалены были лыко, мочала, канаты,

распиленный лес. Слева пламенела кузница. От нижнего каменного больверка шла куртина. По недостроенным бастионам ходили часовые. У самой Невы, на доке стоял скелет фрегата, напоминавший костяк дохлого мамонта, привезенного недавно в кунштками́еру. Около бастионов и у фрегата толпились работные людишки, пригнанные сюда со всей России, тверские, вологодские, астраханские, калмыки, татары, хохлы, в рваных зипунишках, в лаптях, а иные и без лаптей. Снег лежал грязный и осунувшийся. Ветер дул с моря, нес ростепель, невские льды тронулись ночью, серые облака шли неспешно, — мартовский день походил на октябрь. За рекой одиноко торчали неспиленные еще сосны, точно на лесной порубке. На Васильевом Хирвисари-острове, пилкой очерчивая серое небо, толпились кое-где еловые, стройные перелески. Над головою, на адмиралтейском спице пробили куранты семь, и сейчас-же за

ними заскрипели цепи под'емных ворот. Вошол солдат и поставил на столе тусклую масленку. По бою курантов, по скрипу ворот, по походке солдата, по тому, как поднят штандарт, — гвардии офицер Зотов научился узнавать о настроении государя: служба была *государева*. И всегда, когда Зотов думал о Петре, все существо его напрягалось тоскою и болью: ему вспоминался серенький январский день, когда отца его, князя-папу, Никиту Зотова, восмидесяти-четырех-летнего старика, по именному указу государя, венчал девяностолетний поп с шестидесятилетней старухой Пашковой. Шествие, санкционированное указом, начиналось у Зимнего дворца. В сани „молодых" были запряжены четыре медведя, к козлам был привязан олень. Во главе процессии шол палач и кесарь Ромодановский, коий „пьян во все дни". Все министры, аристократия, дипломатический корпус, — все присутствовали на этом узаконенном издева-

тельстве. Медведи, которых били, дико ревели. Князь-папа наряжен был в костюм жреца, полуобнаженный дрог на морозе, — дрог и кривлялся, кривлялся, что-бы увеселить государя.

В канцелярии Адмиралтейств-коллегии Петр был утром, Зотов еще спал, устроившись на столе, его разбудил сержант. Государь вошол в треуголке, одетый в зеленый сивальный сюртук, сильно потрепанный, в узкие штаны, красные чулки, вязания императрицы Екатерины, и в скошенные немецкие туфли (карманы сюртука и брюк оттопыривались сильно, набитые трансциркулем, компасом, ватерпасом и прочими инструментами, которые Петр всегда носил при себе). Шол сгорбившись и стремительно, размахивая руками, широко расставляя тонкие свои ноги, косолапя, подражая, по привычке, голландским матросам: стало-быть, его величество был в расположении духа хорошем. Гвардии обер-офицер Зотов стал во фрунт.

Государь, на европейский манер, подал руку. Куранты пробили три четверти пятого по полуночи. В окна шла туманная муть. Государь непристойно сострил, актерски расхохотался, как всегда, на о, — прошол к столу, просматривал бумаги. Затем отомкнул своим ключем шкаф с тайными государственными бумагами, касающимися адмиралтейства, и жестом пригласил проследовать в него офицера Зотова. Сказал:

— Возможности не имея пребывать ноне на заседании Адмиралтейств-коллегии, прошу ваше благородие присутствовать при нем тайно, в силянсе. Донесение извольте учинить начальнику тайной канцелярии графу Петру Андреичу.

Никогда, нигде не было такого сыска, как при Петре в России. Гвардии офицер Зотов, бряцая эспадроном и шпорами, прошол в шкаф; от государя пахнуло потом и водкой. Петр замкнул ключ и, уходя, крикнул бодро:

— Имею честь поздравить ваше благородие с открытием навигации. В завтрашний день пожаловать просим ко дворцу на трактамент!

В шкафе было темно и душно, в щели шол серый свет. Зотов покурил из голландской своей трубки, устроил сидение из бумаг, оперся на эспадрон и заснул, привыкнув спать во всяких положениях. К десяти стали собираться члены. Апраксин послал сержанта за водкой. Зотов подслушивал: говорили то, что говорила вся Россия, так же, как говорила вся Россия, — о том, что Россия раззорена, что в Заволжьи бунтуют калмыки, на Дону непокойны казаки, что по деревням голод и смерть, — по деревням пошли юродивые ради Христа, в деревнях нашли антихриста... Начальник тайной канцелярии граф Петр Толстой пришол в коллегию к четырем по полудни и выпустил Зотова из шкафа. И Толстой, человек, задушивший в Адмиралтейском и

Петропавловском застенках не одну сотню людей, сидя у стола, глядя на Неву немигающими своими глазами, говорил так же, как все, трусливо и зло.

— На Кайвусари-Фоминном острову новый праведник сыскан. В адмиралтейский застенок сей юродивый доставлен. — Толстой помолчал. — Вся Россия зело плачет. Ночью приди. — Зотов спросил:

— Веришь, ваше сиятельство, ради Христа юродивым?

Толстой осмотрелся кругом, пристально взглянул на Зотова немигающими своими глазами, сказал тихо:

— Верою весьма преисполнен.

Куранты пробили семь с четвертью. Сумерки мутнели грязно. Нева набухала, с моря шол ветер: к рассвету надо было ждать наводнения. Зотов прошолся по комнате, разминая ноги в ботфортах с голенищами до паха. Остановился у двери и прочол царский указ, уже пожелтевший и засиженный мухами:

— „Великий Государь указалъ симъ объявить, какъ и прежде сего объявлено было, чтобъ у кораблей и прочихъ судовъ, также у галеръ въ гавани, при Санктъ Питербурхѣ, никакого огня не держать, также и табаку не курить, а ежели кто въ ономъ сыщется виновенъ, будетъ битъ: по первому приводу будетъ наказанъ 10 ударами у мачты, а ежели приведенъ будетъ въ другой разъ, оный будетъ подъ киль корабельный подпущенъ и у мачты будетъ битъ 150 ударами, а потомъ вѣчно на каторгу сосланъ“. —

Прочитав, гвардии обер-офицер Зотов набил трубку и от масленки закурил.

Заснув еще, в двенадцать он сделал обход часовых, — часовые стояли на посту 24 часа, и не смели спать, ибо биты были тогда батогами нещадно. Сменив посты, передав караул и дежурство, гвардии обер-офицер Зотов направился домой, тут-же, на Московской стороне, за Мьей-рекой, в гвардейские казармы. Проскрипели под'емные ворота, в канале шумела прибывающая вода. Охватили мрак, сырость, ветер, ботфорты вязли в разбухшей глине. На пустырях пересвистывались дозорные, на Кайвусари - Фомине острове звонили в колокол. Во мраке натыкался на сваленный лес, на изгородья новых, недостроенных построек. У каторжного двора испуганно окликнул часовой. Италианский дворец горел жолтыми огнями. На немецкой слободке, где жили с'ехавшиеся со всех стран на легкую наживу всякие неудачники, прохвосты и

пираты, трещала колотушка. Ветер дул упорно, сырой, упругий. После суточного сидения в сырой канцелярии, нудного безделья и неловкого сна члены тела казались помятыми, опухли глаза, слипался рот. Заморосил дождь. В офицерском корпусе гвардейских казарм были шум, пение, крики, визжал орган: офицеры только-что вернулись с ассамблеи, где наплясались и перепились. Молодежь толпилась около дневальной каморы, куда затащили срамную девку.

Гвардии обер-офицер Зотов собирал и собирался записать в юрнал свой материалы об основании Санктпетербурга, парадиза Петра, — этого страшного города на гиблых болотах с гиблыми туманами и гнилыми лихорадками. Во имя случайно начатой (как и все, что делал Петр) войны со шведами, случайно заброшенный под Ниеншанц, Петр случайно заложил — на болоте невской дельты, на

острове Енисари, — Петропавловскую фортецию, совершенно не думая о парадизе. Это было в семьсот третьем году, — и только через десять лет стал строиться — Санкт-Питер-Бурх, — строиться также дико, стремительно, жестоко, как и все, что делал Петр.

Главной задачей устроения парадиза было, чтобы он не походил на Москву. Санктпетербург должен был стать каменным: указом государя запрещалось ставить каменные поставы во всем государстве, кроме Санктпетербурга, а в оном, ежели дом и строен был из дерева, — шить его тесом и раскрашивать под кирпичи. „За тюркскою войною зѣло мало въ высылкѣ было работныхъ людей въ Санктъ-Питеръ-Бурхѣ, чего для потщитесь къ будущему лѣту и къ зимѣ указное число выслать: — съ 35 городовъ, посадовъ, дворцовыхъ волостей, помѣстьевъ, вотчинъ, всякихъ чиновъ людей, съ крестьянскихъ и бобыльныхъ дворовъ“ — отовсюду

велено было пригонять в Санктпетербург „отъ 9-ти дворовъ человѣка.“ Людей сгоняли палками, гнали в цепях, работные людишки должны были итти „съ плотничными снарядами, съ топорами, а у всякого-бъ десятника было по долоту, по бураву, по познику, а хлѣбу и запасу тѣмъ работнымъ людямъ взять съ собою чѣмъ мочно.“ Работные людишки голодали, гнили, мерли от повалок, редкий работал больше года, каждый год вымирало до ста тысяч людишек — город бутился человеческими костями. Не хватало инструментов, землю носили в подолах рубах; не хватало лаптей — ходили босыми. Работали, стоя по пояс в воде; жили в гнилых землянках; иные уходили в бега, в леса, к разбойникам; иные бунтовали, — тогда их вешали у Петропавловского кронверка десятками, для показу. Рабочих указ дан был брить. Местные люди жульничали (хороших жуликов любил Петр), откупались и покупались взятками: — взятки

Петр называл „коварством.“ Писал: „Съ Казанской губерніи не дослано сюда за прошлый годъ положенныхъ денегъ больше 20 т. рублей, чему удивляемся мы, что такія дѣла у насъ забвенію преданы,“ — и грозил дыбою. Хоронили холопов там же, где они подыхали. Работные людишки, раздетые, голодные, цынготные, безумели от страха, мучений, непонимания. Вельможам выезжать без разрешения из города было воспрещено. На всех государевых крышах указ дан был ставить „спицы,“ — дабы время свое люди по часам знали. Начальником города был князь Меншиков, генерал-губернатор ингерманландский, — либер-киндер-Саша, как звал его Петр.

На рассвете ударили в набат. На Петропавловской и Адмиралтейской фортециях запалили из пушек. Офицеры выбежали на плац, из казарм выбегали солдаты, примыкая на бегу к фузелям баги-

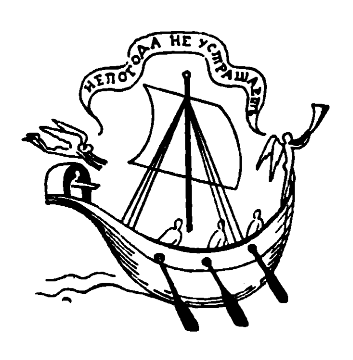
неты. Заревел сигнальный рог. Выстроились. Был грязный рассвет. Ветер перешол в шторм, свистел в трех голоствольных соснах, еще не срубленных. Говорили о наводнении: на Васильевом-Хирвисари острове смыло весь запасенный лес, потонул в канале гвардии офицер Дерябин. Нева разбухла, посинела, щетинилась зелеными беляками. Кто-то сказал, что подступают шведы, заговорили о бунтах. Дождь косил косо, холодно. Загудели колокола в церквах. Опять ударили из пушек. Скомандовал дежурный генерал, офицеры передали команду по ротам. Вышли с плаца, пошли по направлению к Италианскому дворцу. Утро было мутное, холодное, мокрое, грязное.

На дороге повстречал конный ординарец, снял шляпу (ветер сорвал его парик) и крикнул:

— Его императорское величество конфузию сию учинить приказал с первым текущим апрелем и с открытием навига-

ции! А також указал прибыть ноне ко дворцу на трактамент!

Полк прокричал приветствие императору и повернул обратно.



## ГЛАВА ВТОРАЯ



взморья, из-за Малой Невы, из лесов, часто набегали на Санктпетербург волчьи стаи, драли и скотину, и людей. Разливом загнало стаю на Мистула-Елагин остров. Было доложено государю, и Петр поехал ловить „сих раритетов“ для кунштkамеры, погнав с собою сотню людишек. День был мутный и мокрый.

На Кайвусари-Фоминoм острове, за кронверком, у Татарской слободы, где на песках торчали тоскливые юрты киргиз и калмыков, обезумевших дикарей, пригнанных сюда с заволжья, у старых ветел,

об'явился человек. Был он бос, с раскрытой головою, с бородою седой до пояса, с лицом сухим и строгим, в ладной монашеской рясе. Старик говорил о государе, о том, что царь Петр есть-де антихрист, будет-де весь народ печатать, „а на которых печати не будет, тем и хлеба давать не будут." Говорил, что Нева-де пойдет вспять, развернутся хляби и снесут проклятый народом город. Показывал калмыкам налоговый знак на право ношения бороды, где выбиты были двуглавый герб российский, нос с усом и борода, и надпись: „дань заплачена." На старика, на толпу бросились семеновцы с батогами, старец скрылся за юрты, его ловили. Петр, возвращаясь с ловли волков, принял участие в новой ловитве, командовал. Сыскан старец был вскорости, за кронверкским валом, к вечеру притащен был в Адмиралтейской фортеции застенок: в двадцатом году, после удушения в Петропавловской крепости Але-

ксеевском равелине царевича Алексея, дан был указ, — „для розыска во всякихъ делахъ застѣнокъ сделать въ Адмиралтейской крѣпости.“ Под крепостным валом, в подземельи, в канцелярии застенка встретил старика граф Толстой. Тускло горела масленка, залитая конопляным маслом, комната была приземиста, без окон, со сводчатым кирпичным потолком. Толстой сидел у стола, расставив ноги, барабанил тонкими своими пальцами по столу, смотрел немигающими глазами долго и пристально, молчал. Старик стоял перед ним прямо, неподвижно. От графа пахло водкой, от старика — луком и редькой.

— Как звать? Отколь? — спросил Толстой.

— Крещен Тихоном. С Белоколодезского погосту, с Коломенской волости.

— За трегубую аллилую и двуперстие, што-ли?

Старик помолчал.

— И за них.

— Поди сюда, сукин сын.

Старик подошол, граф ударил его ботфортом снизу в живот.

— Глаголь орацию. Говори, когда потоп предрекаешь? Какую силу в медали нашол. Слово и дело государево.

— Егда потоп придет, един Бог Саваоф вестя. Предсказать еще не мочен.

— Говори орацию.

Молчали оба долго. Заговорил старик.

— Грахф!.. Внемли, — всякого благорассудного естество есть, но не оскуденья. Што с землей нашей стало есть? — стон, вопль и плач мирской. Единые балаганства суть. Весь народ наготствует, совесть купуется, правда в бордели сокрыта. О, Россие! балаган!.. Мой сын стариком стал, — и все война, немцы засилили. Царь с трубкой в зубах, как матрус заморский, одет, как немчин, пьян, яко ярыга, ахальничает, матершинит, яко татар, — ца-арь!.. Грахф!.. прими сие: царь наш подменный, немчин, — егда



он за море с ближними людьми поехал, в стогольское царство прибыв, к стогольской той царице-девке пошол, а оная девка Ульрика, спать с собою его положив, над государем нашим надругалась, на пуп свой клала, а пуп ей как сковорода горячая, и сменила немецкая стогольская девка Петра Алексеевича оборотнем, дабы брил он бороды, кафтаньё резал, однорядки, ферези... Грахф!.. печатать хлеб скоро будут, понеже привезены печати. Летосчисление наинак поставлено. Еретики папежники, лютеры веру застят... А царица та, стогольская девка Ульрика, как была имянинница, стали ей говорить ее князья да бояре: — пожалуй, государыня, ради такого дня выпусти его, государя. Оная блудная девка сказала: — подите, посмотрите, коли он жив валяется, для вас его выпущу. Те, посмотря, сказали: — томен, государыня. — А коли томен, так вы его выкиньте на помет. А Алексашка Меншиков, конюх, христопро-

давец, да Лефор-немчин, подобрав его в тот час, в бочку смоленую засмолили да в море выкатили. А как видел это стрелецкий сотник, то новый их содружник-дебошир, государев оборотень, и облютился на стрельцов. Авдотью Федоровну в монастырь сослал, потаскушку Монсову взял, — оморок мирской!.. Грахф! На смех все изделано есть!.. на смех, на издевку... Балаган!.. Отверзни очесы своя!.. Грахф!..

Масленка горела тускло, коптила. Стены и потолок были в сырости, в мокрицах, сырость пронизывала. Толстой сидел неподвижно, смотря не мигая мутными своими раскосыми глазами. Старик говорил, боясь остановиться, боясь замолчать. Лицо старика было бледно, масленка потрескивала.

— Поди сюда, сукин сын. Хвамилие?
— Сенсу довольно.

— Старцев прозываюсь. Три сына у меня на войне сгибли, два мнука...

— Когда потоп предрекаешь?!

— Егда потоп будет, един Бог вестя, но быть будет.

— Поди сюда, сукин сын! Дыбу ведаешь? . .

Открылась железная дверца, вошол гвардии обер-офицер Зотов. Покачиваясь, прошол к табурету, рухнул, положив голову на стол, икнул, вытащил из-за ботфорта штоф, захохотал.

— Што? — спросил Толстой.

— Ноне в сенате, собравшись в конзилию, Ягужинский со Скорняковым в каллизию вошли, за сим впутался светлейший Алексашка Меншиков. Ягужинский Скорнякова, обер-прокурора, за волосья оттаскал, а Шафыров с Головкиным да светлейший ворами обзывались! .. Буча. Казус! .. Меншиков побег императрице жаловаться — по старому маниру. Были все зело шумны, после трактамента. Был при сем обер-фискал Мякинин, донес государю, — государь Катерине Алексеевне

говорил: — Меншиков-де в беззаконии зачат, во гресех родила его мать и в плутовстве скончает живот свой, а ежели не исправится, быть ему без головы. — Дебош пошол с трактамента. Алексашка теперь плачет у царицыных ножек — нюхает. — Зотов снова захохотал, рухнул пьяно головой о стол.

— Дурак! — сказал Толстой. — Не зришь-бо, монстра сия стоит со словом государевым.

Пьяное, красное лицо Зотова моментально побледнело, вытянулось, соскочили веселость и хмель. Зотов встал, взглянул на Толстого. Толстой трусливо улыбнулся.

— Понеже, ваше благородие . . .

— Ваше сиятельство! . . — голос Зотова дрогнул.

Толстой трусливо подошол к двери, дернул веревку от колокольца — в подземельи зазвенел глухо колокол. Вбежал солдат.

— Фузель! — крикнул Толстой, и обратился к старику. — Поди сюда, сукин сын! Когда . . .

Его перебил Зотов.

— Иди, егда глаголят! — крикнул визгливо, ударил старика по лицу, бритые губы Зотова ощерились.

Вбежал солдат с фузелью, стал во фрунт. Вдруг старик упал на колени, пополз к ногам Толстого, заскулил по собачьи, заплакал. Масленка чадила тускло и смрадно.

— Сыночик, грахф! . . смилустуйся, не стрели, не стрели, каса-атик! . .

Толстой отодвинулся сожмурил глаза, скомандовал:

— Пли!

Старик завизжал, пополз к углу, фузель сначала дала осечку, затем грянула как пушка, метнулся дым, потухла масленка, старик смолк. Солдат постепенно высек огниво. Затылок и ухо старика были разбиты, конвульсивно подергива-

лись ноги. Граф трусливо раскрыл глаза, покойно сказал:

— Повесить сего старика на Фоминном острову за кронверком у Татарской слободки на иву, где оный об'явился, — для показу.

Когда Толстой и Зотов выходили из застенка и за ними поднялся мост, Толстой шопотом сказал:

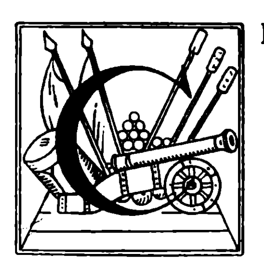
— В тайную канцелярию доставлено есть письмо енерал-адмирала Апраксина, оный пишет: „истинно во всех делах, точно слепые, бродим и не знаем, что делать. Во всем пошли великие расстрои и куда прибежать и что впредь делать, не знаем. Все дела, почитай, останавливаются.“ Мятеж и разбой.

Над Санктпетербургом стоял туман, густой, как студень. За рекой, должнобыть, в Астории, гремел оркестр. До дому Зотов не добрался, заблудился, залез в какой-то шалаш и там заночевал. Были в нем тоска и боль.

Утром гвардии офицер Зотов получил приказ отправиться в Московской провинции коломенский дистрикт комиссаром, „дабы ввести добрый анштальт.“ Зотов три дня пьянствовал и ускакал на перекладных, с государевой эпистолью: вопросы „коммуникации“ не принимались в рассчет, когда скакали по указу государеву.



## ГЛАВА ТРЕТЬЯ




ЕЙЧАС же за Санктпетербургом, отскакав от него верст восемьдесят, переправляясь под Тосной на пароме через реку, гвардии обер-офицер Зотов почувствовал, что он в настоящей, подлинной, древней России, что в России идет Великий пост, над Россией творится русская наша, обильная, тихая, благодатная весна.

Тракт от Санктпетербурга до Тосны напоминал военную дорогу, валялись людские и конские скелеты, поломанные воз-

ки, рубленный лес. На Тосне перевозчики говорили о разбойниках, напавших регулярным строем, — и Зотов не мог понять, говорится ли это просто о разбойниках или о царских солдатах. За Тосной, около корчмы на лугу в грязи валялись кандальники и работные людишки: тут их брили, дабы не попались они бородатыми на глаза государю. Закат был багряным, весенний ветер ласкал тихо, земля, родящая, пахнула потом полей. В корчме подали постное. За рекой звонил великопостный колокол. За открытым окном кто-то тоскливо пел:

А и Петра, что щелканище,
С князей брал по сту рублев,
С бояр по пятидесяти,
С крестьян по пяти рублев.
У кого денег нет —
У того дитя возьмет.
У кого дитя нет —
У того жену возьмет!
У кого жены нет —
Того самого с головой возьмет!..

Вечер пришол тихий и ясный. Над рекою летали стрижи, купаясь в тихих красных лучах.

Над землею шла весна, шол Великий пост, — и Зотов почувствовал остро, — что если в Санктпетербурге, за разгулом, воровством, жульничеством, жестокостью, за лихорадками и туманами, хоть глупая, но все же была мысль стать подобным Европейской державе, — то за Санктпетербургом, в огромной России были единые разбои, холуйства, безобразие и бессмыслица. Два раза измененное местное управление, налоги, подушная, расквартировка по селам полков, натуральные поборы, наборы, солдатчина, — все спутало, перепутало, затуманило здравый смысл. Комиссары, земские и военные, ландраты, ландрихтеры, кондидаторы, провиант-мейстеры, губернаторы, воеводы — мчались по своим дистриктам и провинциям, загоняя в зависимости от аллюра и чина

тройки или шестерки, взыскивали, пороли, вешали — бритые, похабные больше чем татарские баскаки, похабничающие спьяна надо всеми со всеми. Крестьяне боялись, как чуму, новую эту бритую бюрократию, всегда пьяную и говорящую на помеси немецко-русского языка. Выростало целое поколение, и было знаемо, что Россия все воюет — с турками, со шведами, персами, сама с собою — с Доном, Астраханью, Заволжьем. Набор шол за набором, налог за налогом. Тащили с церквей колокола, обкладывали податью — хомуты, бани, борти, гроба, души. Шли недоборы, нехватка рук, голод, блудили солдатки, — солдаты, убегая, приходили зараженные сифилисом, пьяные, забитые, озлобленные, жили разбойниками в лесах. Старая кононная, умная Русь, с ее укладом, былинами, песнями, монастырями, — казалось, — замыкалась, пряталась, — затаилась на два столетия.

В одной деревне, уже за Мстой, в

Валдае, к повозке Зотова бросилась баба, закричала безумно, запричитала:

Охти мне, да мне тошнешенько!
Кабы мне да эта бритва навостреная,
Не дала-бы я злодейской этой нечисти
Над моим сыночком надругатися!..
Распорола-бы я груди этой некрести,
Уж я вынялa-бы сердце то со печенкою,
Распластала-бы я сердце на мелки куски,
Я нарыла бы в корыто свиньям месиво,
А и печень свиньям на угощение!..

— Што орешь, монстра волосатая?! — отозвался Зотов.

Баба бросилась под колеса, завизжала:

— Пори мои грудыньки, коли мои глазыньки, — отдай мово дитеньку-у!.. Будь мое слово выше горы, тяжеле золота, крепче камня Алатыря . . . Чорт страшный, вихорь бурный, леший одноглазый, чужой домовой, ворон вещий, ворона-колдунья, Кощей-Ядун, — лютый антихрист Петра-а-а!.. А придет час твой смертный!..



Деревня лежала на склоне холма, росли клены, избы были под соломенными крышами, хмуро грелись на солнце. Был полдень, весенний жар. Звенели жаворонки. Была весна, кричали грачи, вечерами токовали в лесах глухари, совы кричали, филины ухали, дули вольные ветры, разливались реки, мужики собирали бороны-сохи, пели девушки на косогорах. — Баба вопила долго, пока не скрылась деревня, пока не встал впереди на горе белый пятиглавый монастырь. Кругом под небом были леса, поля, суходолы.

За Москву, в коломенский дистрикт гвардии офицер Зотов прискакал на страстной и сейчас же поскакал по уезду. В великий четверг, к вечеру был у Погоста Белые Колодези, на местных солдатских квартирах. Верно, мужики и солдаты были предупреждены, потому-что солдаты, очень оборванные и небритые встретили его барабанным боем и подали рапорт, а мужики, очень испуганные, —

хлебом-солью и челобитной. Гвардии офицер Зотов остановился на с'езжей, „дабы добрый анштальт внести,“ — но к нему пришли священник и местный дворянин Вильяшев, просили прийти ко всенощной и затем к священнику разделить вечернюю трапезу.

Белая, ставленная из известняка, церковка стояла на холме, над Окою, за нею лежали леса, луга, вечный простор. Слюдяные оконца смотрели в землю, со стен глядели темные, строгие лики. Зотов давно уже не был в церкви, в Санктпетербурге церковное служение было увеселением, — поразили суровость, простота, благочиние. Стоял со свечою неподвижно. Обнищавшие, оборванные мужичонки молились истово, бесшумно. Свечи под сводами горели неярко, служба была долгой. Из церкви вышли, когда уже стемнело, атласное синее небо вызвездилось чоткими звездами. На лугу у реки кричала медведка, перекликались во мраке на по-

лях коростели, издалека доносилось чуфырканье глухарей.

В избе священника стены мазаны были глиной, горела лучина, священник принес меду, чорного хлеба и ключевой воды. Сел напротив, расправил бороду, — Зотов приметил, что лицо священника утомлено, в глазах тоскование, боль и — вера, священник был высок, уже не молод, держался строго, покойно. Вильяшев, в однорядке, с бородой, стал у печки, в тени.

— Чем-богаты . . . — сказал священник, — в Санктпетербурге-городе, чай, новостей зело много . . .

Зотов поставил эспадрон свой в угол, поклонился, сел, заговорил.

Разговор их был недолог.

— Отбыв из Парадиза, поражон весьма был скудостью народной, ибо кругом стон, вопль, мздоимство и дебошанство.

— Та-ак, — в один голос сказали и священник, и Вильяшев.

— Государь его величество наречон императором. В Санктпетербурге викториальные торжества. Шляхетство есть без всякого повоира и в конзилиях токмо спектакулями суть. Его величество правит без резону, по бизарии своего гумору . . .

— Та-ак . . . Темно ты говоришь, барин . . . Так . . . — священник помолчал, поправил темную свою рясу и крест на груди. — Вкуси меду . . . А, правда-ли, глаголят, что государь чудит, как юродивый, — молится на шутейшем-пьянейшем соборе чубуками, уду подобными, крестом никоновым сложенными?.. Правда-ли, што государь на блядюшке Меншиковой женат и паки имеет гарем, по тюркскому обычаю?.. А знаешь, што солдаты здешние квартирные весь народ, мужиков, — всех батогами перепороли, за бабенку распутную . . . Знай!! Погоди. Знаешь, что в песне поют, — „это не два зверя собралися, — народ бает, —

это правда с кривдой сохватилися, промежду собой они дрались-билися ... Кривда правду пересилила. Правда пошла на небеса, а ..." — а кривда харею немецкой рыщет ... Знай! .. знай, что не царь у нас, но антихрист, — головой запрометывает, немчин падучий ... На бани, избы, гробы, хомуты — подать?! ..

— Государя моего поношение слышать аз некопабель, — нерешительно сказал Зотов.

Его перебил священник, — встал, левой рукой взял крест, правую поднял.

— Погоди. Отец мой в оный болотный город пошол, правду искать, — не слыхал про Тихона Старцева? — отец мой! ..

— Поношения государя моего слышать аз некопабель, сказал Зотов грозно и — стал краснеть, упорно, кумачово, плотное его лицо, бритые губы покрылись потом. Встал, смял кулаки. — Поношение государя моего ...

— Тихон Старцев... Старцев — не ведаешь?.. Али — с волками жить — по волчьи выть?..

— По волчьи выть? — переспросил Вильяшев.

Гвардии офицер Зотов, пряча огромные свои кулаки назад, попятился к двери, захватил эспадрон и вышел поспешно, стукнувшись лбом о притолоку. Вслед ему крикнули:

— По волчьи, — а?!.

Над горизонтом меркнул последний перед пасхой, красный, скорбный диск луны, были тишина и мрак. Кричала под горой у Оки медведка. Церковь вросшая в землю, крестом уходила в небо. Зотов набил трубку, высек искру. В смятении, в воспоминании об отце своем (шутейший, пьянейший собор...), о Тихоне Старцеве — *тоже* отце, о Петре, о России, от которой он оторван был уже навсегда и которую любил как мать, утерянную в детстве, — он понял, что, что бы он не

писал в свой юрнал, — он обречон выть по волчьи, скулить, как те волки, что Петр травил на Мистула-Елагином острове.

Шла страстная ночь.



## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ



ЕЛОВЕК, радость души которого была в действиях. Человек со способностями гениальными. Человек ненормальный, всегда пьяный, сифилит, неврастеник, страдавший психостеническими припадками тоски и буйства, своими руками задушивший сына. Монарх, никогда, ни в чем не умевший сокращать себя — не понимавший, что должно владеть собой, деспот. Человек, абсолютно не имевший чувства ответственности, презиравший все, до конца жизни не понявший ни истори-

ческой логики, ни физиологии народной жизни. Маньяк. Трус. Испуганный детством, возненавидел старину, принял слепо новое, жил с иностранцами, с'ехавшимися на легкую поживу, обрел воспитание казарменное, обычаи голландского матроса почитал идеалом. Человек, до конца дней оставшийся ребенком, больше всего возлюбивший игру, — и игравший всю жизнь: в войну, в корабли, в парады, в соборы, иллюминации, в Европу. Циник, презиравший человека и в себе, и в других. Актер, гениальный актер. Император, больше всего любивший дебош, женившийся на проститутке, наложнице Меньшикова, — человек с идеалами казарм. Тело было огромным, нечистым, очень потливым, нескладным, косолапым, тонконогим, проеденным алкоголем, табаком и сифилисом. С годами на круглом, красном, бабьем лице обвисли щеки, одрябли красные губы, свисли красные — в сифилисе — веки, не закрывались плотно,

и из-за них глядели безумные, пьяные, дикие, детские глаза, такие-же, какими глядит ребенок на кошку, вкалывая в нее иглу или прикладывая раскаленное железо к пятачку спящей свиньи: не может быть иначе — Петр не понимал, когда душил своего сына. Тридцать лет воевал — играл в безумную войну — только потому, что подросли потешные и флоту было тесно на Москве-реке и на Преображенском пруде. Никогда не ходил — всегда бегал, размахивая руками, косолапя тонкие свои ноги, подражая в походке голландским матросам. Одевался грязно, безвкусно, не любил менять белья. Любил много есть, и ел руками, — огромные руки были сальны и мозолисты.

В Санктпетербурге, в пасхальную ночь, в начале четвертого часа пополуночи пущена была у Зимнего дворца ракета, и по этому сигналу запалили в Петропавловской и Адмиралтейской крепостях из пушек. На Кайвусари-Фомином острове,

в Троицком соборе, стали благовестить к заутрене, заиграл орган. Государь, государыня императрица, министры и вельможи, по регламенту, пасху встречали у Троицы. Петр был в чорном сюртуке с роговыми пуговицами, в ботфортах, пел негустым своим баритоном на клиросе: — заутреня была задержана, ибо государь с вечера задремал. Когда пошли кругом церкви с крестами и хоругвями, Петр удалился распорядиться фейерверками: оберфейерверкмейстер Демидов зажог масленки на огромном двуглавом орле, и из орла вылетела ракета, ударила во льва, зажга его, лев рявкнул глухо и разлетелся на куски: это означало, что орел — держава российская — победил льва — короля шведского, исконного врага, уничтожил львиные его замыслы. Запалили из пушек. Ночь была темная, безветренная, моросил дождь. За кронверкским плацом, за гостиным двором, на Татарской слободке, около своих юрт, около ивы с

повешенным, лежали на земле в страхе киргизы и калмыки, поражонные орлом и львом. Пушки палили всю ночь. Еще с полночи поднят был штандарт. Мужчины христосовались губным целованием, а с дамами указано было христосоваться целованием руки. Тотчас после литургии перед церковью выстроились литаврщики, трубачи, гобоисты, барабанщики, приветствовали государя и пошли во главе шествия к Неве, чтобы на галерах переправиться в Летний сад, на Перузину-остров, где назначено было гуляние. Нева разбухла, щетинилась беляками, была пустынной, на кораблях горели тусклые фонари, пересвистывались дозорные.

Вечер перед пасхальной заутреней государь провел в Италианском дворце, в рабочем своем кабинете. В комнате, почти в уровень с головою, растянута была парусина: государь болезненно не любил высоких комнат. На столе перед Петром горели свечи, был полумрак, пахло потом,

водкой и сыростью. По углам, на столах, на подоконниках, в пыли, валялась всякая рухлядь, глобус, астралябия, фузели, модель корабля, ботфорты, стояли верстак в стружках, походная неудобная кровать. На полке рядами расставлены были в банках монстры и раритеты, заспиртованные уродцы людей и животных, тщательно собираемых Петром для кунсткамеры, по указу — „о приносѣ родившихся уродовъ, также найденныхъ необыкновенныхъ вещахъ, понѣже известно есть, что какъ въ человѣческой породѣ, такъ и въ звѣриной и птичей случается, что родятся монстры." Петр сидел у стола и локтем сдвинув на сторону бумаги, списывал из „Приклады, како пишутся комплименты" поздравление в Москву, Ромодановскому, сидел сгорбившись, в колпаке, в нижней одной рубашке, пропотевшей под мышками и заплатанной. У дверей вытянулись денщики, смотрели по сторонам, как пристяжки.

Государь писал:

Высокопочтенный господінъ
Во ісполненіе моеі чадскоі должності не могу оставіть при начатіі Божію мілостію св. Пасхі, вам всякаго блага желать, да подастъ милость Всемогуещаго, да бы вы, господінъ, не точію сей, но и многія послѣдуюещія годы...

Не дописал, должно-быть в рассчете, что письмовник есть и в Москве. Подписался:

Вашева Величества нижайшій рабъ
Kneeb Piter Komondor.

В комнате прохрипела кукушка. Петр откинулся от стола, сказал:

— Слышь?

Полубояринов налево кругом вышел из комнаты, вернулся со стаканцем водки, огурцами и кислой капустой на подносе. Орлов расставил шахматы, двинул королевской пешкой, — тот Орлов, из-за ко-

торого погибла любовница Петра, Мария Гамельтон. Петр не был ревнив, охотно делил своих любовниц с друзьями. „Фрельская девка“ Мария утешалась с денщиками государя, с Орловым, — но она — *любила* Петра, и государь ее казнил. Государь был при казни, он около эшафота попрощался с Марией, обняв ее. Она была в белом платьи с чорными лентами. А когда палач отрубил голову, Петр поднял ее и наглядно раз'яснил присутствующим анатомическое строение горла, затем поднес голову к своим губам, коснулся мертвых губ губами своими, которыми раньше — девушку — целовал иначе, — перекрестился и ушол, — побежал на верфь, косолапя, размахивая руками, без шляпы, как всегда в теплую погоду.

Государь выпил водку, с'ел огурец, выдвинул тоже королевскую пешку, чорного офицера, коня. Коню удалось взять в вилку туру и королеву, — Петр громко захохотал. Но партии доиграть не

удалось — пришол прибыльщик и прожектер, царский писатель, Митюков. Стоял около приземистой дверцы, постный, елейно кланяясь, в костюме на прокат, в парике, из-под которого торчали собственные рыжеватые волосы.

Петр сказал:

— Guten Abend.

Митюков закланялся, как флюгер от ветра.

— Прими лаплас, — сказал Петр. — Место прими.

Тот сел на кончик стула, положив руки на колени. Из-за чужого ботфорта, который был велик, торчала грязная портянка.

— Говори измышление свое.

— Ваше царское величество! Век служить тебе восхотев...

— Не мне, а государству, понеже сам служу, почав с первого Азовского похода бомбардиром. Говори сенс.

Мужичонко глубоко передохнул.

— Како обложены суть людишки померными налогами, хомутейными, шапошными, пчельными, там, банными, брадобрейными, — измыслил аз обложить весь народ курильным налогом, дабы курили все табак, а кто не восхощет, должон дань платить, смотря по чести и чину.

Петр наклонился к Митюкову, взглянул дикими своими глазами в затрепетавшие его глаза, расхохотался, крикнул:

— Орлов!

Орлов вырос у стола, руки по швам.

— Посадить сего человека в камору и приставить дозорщика, дать ему трубку, дабы курил оный всю ночь канупер без останова. Смотреть неотлучно. Ежели стошнен будет — вытолкать в шею, двадцать батогов дав, ежели осилит, дать бумаги по утру, дабы писал проэкцию к вечерней моей аппробации.

Митюков обмяк, посерел, упал в ноги. Орлов схватил его за плечи и потащил в глубь комнаты к потайной двери. Петр

хохотал весело, проводил до двери, заложив руки назад.

Полубояринов снова принес водки, государь выпил. Сел к столу, читал. Свечи горели тускло, чадили. Среди задрязганного стола, где валялись корки, карты, бумаги, пепел, об'едки огурцов, около инкрустированной шахматной доски, лежала огромная, мозолистая рука Петра, с ногтями на манер копытец. Петр сидел в тени. Вскоре пришол Орлов, доложил.

— Оный Митюков блюет, ваше величество.

Петр не ответил. Орлов вгляделся. Государь склонил сально-волосатую свою бабьи-красную голову к спинке кресла, полуоткрытые глаза смотрели стеклянно, — государь спал. Захрапел тонким бабьим присвистом. Орлов стал во фрунт, стоя заснул. Легла тишина, храпел государь. Как раз под государевым кабинетом в подвале блевал судорожно Митюков.

Утро пришло бледное, немощное, пустынное, — такое же пустынное, как осень. В Летнем саду на Перузино-Адмиралтейском острове было гуляние. Государь с утра был пьян. Государем указано было у ворот поставить стражу и никого не выпускать из сада до полуночи. Сад, построенный на заграничный манер, с чахлыми деревцами, с павильонами к Неве, с фонтанами, с охотничьими домиками, острокрышими, крытыми черепицей, как голландские хибарки. День пришол серый, холодный, пустынный. Трактамент назначен был под открытым небом. Маршалом был государь. По аллеям пошли гвардейцы с ушатами сивухи и крашенными яйцами, царским подарком, поздравляли ковшом водки. Мужчины поместились за длинными узкими столами — в главном павильоне, дамы отдельно — у фонтана за Статуйной аллеей. Государь ел и пил стоя, по чину маршала остатки из тарелок выливал на голову дуре-княжие

Голицыной. Перепивались быстро. На женской половине в питии не отставали, вскоре оттуда понесся визг: это императрица в припадке нежности (нежности-ли? ненависти-ли?) щекотала новую государеву галантку, фрельскую девку Румянцеву, — та брыкалась, визжала, остальные хохотали. Были женщины в нескладных, дорогих, домошитых платьях, не похожих ни на русские, ни на заграничные, — разве на костюмы голландских разбогатевших мещанок, жон матросов, весело гулявших без мужей. Прически у женщин порастрепались, дородные лица вспотели, порасползлись платья на сытых толстых телах. Запели визгливо разухабистую застольную, как поют, когда рубят капусту. Государь пьянел-мутнел медленно, приметил, что князь старик Трубецкой, склонный к старине, взял тайком вторую порцию сладкого, — закричал, призвал гвардейцев, раскрыл насильно рот старику и пичкал — в припадке — желе, пока у



того не закатились глаза. Грянула музыка к танцам, офицеры вскачь бросились на дамскую половину, женщины завизжали, сбились в кучу, мужчины заигрывали, толкались, хватали — с пьяна — за груди, пьяно топтались на месте в менуэте. Ягужинский, галант французский, подрался со своею новой женой. Иные из стариков уже спали, свалившись под столы. Попы мирно допивали остатки, попахивая кислой капустой. Новый князь-папа Бутурлин в малом павильоне благословлял орлом и удоподобным своим крестом. Государь командовал лакеями, готовил буфет с охладительными и ушаты с водой для отливания омертвевших; новый сюртук его с роговыми пуговицами давно уже был засален и выпачкан в песке. Петр заходил ко князю-папе, выпил большого орла, прошол на танц-пляс, мутно поглядывал кругом, нахмурился, на глаза попалась Румянцева, по дряблым губам побежала улыбка, глаза с отвислыми веками

стали буйными, — подбежал к Румянцевой, схватил, поднял на руки и, на бегу закидывая ее юбки и раздирая на ногах белье, побежал к охотничьему домику, на верейке уплыл в него, крикнул императрице:

— Катька! дура! экземпель! Повелеваем пребыть в силянсе.

Румянцева вышла через несколько минут, красная, потрепанная, поправляя платье, похожая на потоптанную курицу. К ней подошла императрица, зашептались.

Государь вызвал к себе на озеро Толстого. Сидел на столе, поставив тонкие свои ноги в чулках на диванчик, без сюртука, мутно улыбался. Толстой стал у двери, посматривал осторожно раскосыми своими, немигающими глазами.

— Петька. Ваше превосходительство... Раритет!.. Известно всем есть, што Ивашка Мусин-Пушкин батюшки моего государя сын. Моего отца признать не

мочен, — бают, Тихон Стрешнев али дохтур. Понеже есть ты, ваше превосходительство, начальник тайной канцелярии, дознать сие неотложно, обополы, без всякого предика.

— Слушаюсь, батюшка.

— Кабель! Не батюшка, а — император... Понял?.. Понеже иного дела не имеете, точию одно правление, которое ежели неосмотрительно делать будете, то перед Богом, а потом и здешнего суда не избежите... Погоди. На Фоминов острову пойман был раскольник, предрекал оный потоп и мою подмену. Где оный раскольник?

— Казнен, ваше величество.

— По чьему указу? каковы циркументации? Когда потоп предрекал?..

— Не сказал, ваше величество. Гвардии офицер Зотов при сем был, возмущон был словесами. Из фузели... — немигающие глаза Толстого быстро замигали.

Петр встал, судорожно натянувшаяся правая нога откинулась назад, лицо обезобразилось судорогой, подбородок свернуло к плечу, глаза смотрели дико, беспомощно и больно.

— По чьему указу? какими регулами? — бунт?! — Толстого четвертовать, Зотова на дыбу!..

Толстой шмыгнул из двери, не заметил лодки, бросился в воду, кричал императрице:

— Матушка, — томен!..

Екатерина поплыла к Петру. Петр стоял, размахивая руками, подбородок его судорожно склоняло налево, сажало на плече, глаза были дикими и беспомощными, как у ребенка. Одна Екатерина могла его успокаивать в такие минуты. Взяла обеими руками голову Петра, прислонила к груди, почосывала тихо за ушами. Села, посадила около государя, прислонила голову его к обильным своим ко-

ленам, почосывала. Государь заснул беспомощно, как ребенок.

На пустынной Неве, широко разлившейся и холодной, катались на яликах матросы. Негусто трезвонили на редких колокольнях. На Васильевом-Хирвисари острове, на самой стрелке, где торчали редкие сосны, работные людишки, парни и девки водили хороводы.

Пошол дождь. Вельможи прятались по павильонам и беседкам, ибо у ворот стояла стража, которой указано было не пускать никого с трактамента до полуночи. Нева ощетинилась, холодно обвеивал мокрый ветер. Шол серый, сырой, болотный санктпетербургский пасхальный день.

У Николы, в тот день шли широкие теплые ветры. В светлый день пели девушки веснянки. У Николы, под солнцем, и ночью до нового солнца пели девушки. Красными сарафанами одевались утренние зори, болотными купавами меркли зори вечерние. Пели девушки:

Оболокусь оболоками,
Подпояшусь красною зарею,
Огорожусь светлыми месяцами,
Обтычусь частыми звездами, —
Освечусь я красным солнышком!..

Ой, ударь ты, гремучий-Гром огнем-полымем!
Разогрей ты, громова стрела,
Нашу матушку, Мать-Сыру-Землю!..

Девушки пели тогда, чтоб пропеть два столетья, — девушки пели о семнадцатом годе октябрей.

